

СВЯЗКА № 2
от «Идиота» к «Бесам»

Работа над «Бесами» шла одновременно с написанием «Идиота» и как в двух предыдущих случаях была связана с разработкой сюжета из криминальной хроники в связи с Нечаевским делом. Шалопаи компании Бурдовского становятся боевиками-террористами, с руками обгагрёнными кровью. О Льве Мышкине не напоминает больше ничто.

«Князь только *прикоснулся* к жизни. Но *то*, что бы он мог сделать и предпринять, то всё умерло с ним. *Россия действовала на него постепенно. Прозрения его.*

Но где только он ни прикоснулся – везде он оставил неисследимую черту»¹.
Потому что это – любовь.

Однако Россию оккупировала банда насильников. Это те, кто решил для достижения своих корыстных или карьерных целей использовать в качестве движителя «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Под их легкомысленный, но злобный вопль «К топору зовите Русь!» мы вновь возвращаемся к философу этого орудия для колки дров Раскольникову, который сговорил компанию себе подобных выйти в массы в качестве отряда специалистов по игре на данном инструменте.

Анна Григорьевна постоянно стыдливо высказывалась – устно и письменно – о невероятной “тенденциозности” этого произведения мужа; основания к этому были. Но Достоевский не изменил духовной философии, вроде бы перейдя на чистый памфлет. Он пустил в дело не пригодившиеся в окончательном тексте «Идиота» ранние заготовки, среди которых было много подлинных находок.

Продолжается соревнование с Шекспиром. На смену Геро и Яго приходит принц Гарри. Что касается убийств и смертей («Бесы» – наиболее заглублённая точка в *зону преступления*), то их в романе-памфлете больше, чем в других частях Пятикнижия вместе взятых. *Наказания* же внутри текста не претерпевает никто.

Значит, схема работает!

На смену замордованному женщинами князю Мышкину (Князь Христос) приходит женский палач Ставрогин – «Крест женщин(ы)» (Князь Мира Сего) – ситуация рассматривается с противоположной стороны, не со стороны пассива, а со стороны актива. Идиотизм личный заменяется коллективным идиотизмом: маразматические *отцы*: Верховенский старший, Кармазинов, фон

¹ IX, 242; курсив Достоевского.

Лембке соревнуются в нём с дегенератами-*детьми*: нигилистическим паноптикумом Верховенского младшего. Это «Отцы и дети» Тургенева-Кармазинова, превращённые в гомерический трагифарс.

Примечательно, что и старшее поколение не вызывает у Достоевского ни малейшей симпатии. Гротесковый генерал Иволгин и геронтологически-сатирическая галерея вокруг *китайской вазы* – вот всё, что мы имеем на первые два романа Пятикнижия. Но у Достоевского свой угол зрения на проблему. Он не противопоставляет “прогрессивных” детей “отжившим свой век” отцам, а беспощадно показывает, что от уродов рождаются уроды ещё большие. Но он не схватил ещё идеи – это произойдёт чуть позже – что баланс добра и зла на земле находится полностью в руках Высших Сил, а увеличение размера *препятствий* согласовано с возрастанием мощи и скорости *бегуна*. Поэтому реального позитива ближе “территории святости” не сыскать. Поэтому появляется «лучом света в тёмном царстве» Тихон, и исключение знаменитой главы из романа создаёт катастрофический световой дисбаланс произведения. В “шахматной партии” романа эта глава – аналог громоподобного *тихого хода* (Тих он) гроссмейстеров. Без неё «Бесы» – гротесковая *камера обскура*, террариум «товарищей». Причём с Пушкинским «товарищ, верь!..» у него нет никакой связи.

Но в этой же степени в этой зоне – зоне за пределами святости – отсутствует и всяческое проявление гениальности: «гений и злодейство – две вещи несовместные». Тональность полотна – Чёрное на сером, или Серое на чёрном; белое – только на полях.

Декабрьская революция делалась силами аристократов; состав петрашевцев в основном – мелкопоместное дворянство; нечаевщина – разночинный сброд, в котором аристократы (Ставрогин, «князь») и дворяне (Верховенский младший) представлены или скучающими искателями приключений или прямыми провокаторами.

Прежде чем растворить идею и намерение в теле романа из соображений художественности, Достоевский прописывает её в концентрированном виде в черновиках (1872 год) под заголовком «Письмо Ставрогина».

«Я не могу обрадоваться, как вся наша молодёжь, царству посредственности, завистливого равенства, глупой безличности, отрицанию всякого долга, всякой чести, всякой обязанности, отрицанию отечества и видящих цель в одном разрушении, и цинически отрицая всякую основу, которая бы могла их связать вновь, по разрушении всего, по осквернении всего и по разграблении всего, в то мгновение, когда уже нельзя будет жить и малым запасом уцелевших от истребления продуктов и вещей старого порядка. Говорят, они хотят работать – не станут они работать. Говорят, они хотят составить новое общество? Нет у них связей для нового общества, но они об этом не думают. Не думают! Но все учения их сложились именно так, чтоб отвлечь их от думы. Золотая середина. Нет, я не демократ»...

Так могли бы рассуждать Толстой-американец или старший Раевский, пушкинский демон. Язвительная точность определений являет лишь высокомерие праздного ума. Что касается работы, то “топоровед” первого романа Пятикнижия оживает для неё только на каторге.

Впрочем, критика белоручки недорогого стоит.

«Но бессмысленно старая помещичья идея подражательного социализма – сантиментального с новой струей – сменилась ненавистью и жадностью. Мне стало омерзительно. Я порядочный человек. Я не могу кончить так глупо. А между тем я не боюсь ничего, даже смешного, я себя боюсь только.

Великодушный Кириллов не вынес идеи; я вынес, я всё способен вынести. Странное существо, он сам уговаривает меня истребить себя. Из меня вылилось одно бесстрашное отрицание безо всякого величия»...

Это уже не Чацкий и не Онегин, но ещё и не Печорин, хотя близко к нему. Горделивое самонаблюдение здесь главное. Удобно устроившись на краю кратера собственного неукротимого “ндрава”, герой Достоевского ничего, кроме самолюбования не может предложить ни себе, ни людям.

«Тщеславясь и позируя, я каждую минуту сознавал свою низость.

Я знаю, что мне надо убить себя, смести себя с земли, как подлое насекомое, но я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие. Кроме того, я не настолько уважаю что-нибудь на земле, чтобы считать себя подлым насекомым. Негодования во мне никогда быть может, <скорей всего> что это скука прежних лет.

Я ничего не хочу отрицать, но я ко всему равнодушен.

Я ходячая мумия.

Я всегда сознавал мою низость.

К России я не принадлежу ничем»...

Выворачивание наизнанку возможно, пока есть публика, есть зрители, хотя бы одна претендентка на роль возлюбленной. Это письменная пародия на ответ Онегина Татьяне. “Больная совесть” здесь бессовестно соседствует с беспардонным эксгибиционизмом, страстный вроде бы душевный поиск – с самодержавным потрафлением собственной прихоти, сколь бы нелепа она ни была. Подобно красавице, торгующей своей красотой, Ставрогин отдаёт себя на растерзание своим неотчётливым и противоречивым стремлениям.

«Лучше не приезжайте. А между тем я всё-таки вас жду и зову. Что позорнее? Вот я пишу: “Что позорнее?” – а знаете ли, что я не стыжусь, потому что никогда ни в чём не имел стыда.

Не ищите любви: я вас не буду любить. Я везде чужой. Я заговариваюсь. Порой очень нездоров страшною болезнью. Я хочу заключиться один. Если бы было под землёй можно. Я ужасно ненавижу всё, что в России.

Я смотрел на отрицающих, наших и в Европе. О, если бы я мог быть хоть с ними.

Я до того бывал в злобе, что даже *нашими* увлёкся и хотел с ними пойти.

Я пробовал свою силу. На пробах для показу она оказывалась беспредельною.

Я снёс пощёчину Шатова, я...

Но к чему приложить эту силу? Главной цели я не нашёл.

Да, я могу пожелать сделать доброе дело. Но рядом люблю и злое, ужасное, пытку.

Но любовь эта маленькая, из неё ничего нельзя сделать. На бревне можно переплыть реку, а на щепке нет.

Я пробовал разврат. Я истощил в нём силы. Но ничего не добился. Главное, я не хотел разврата и не любил его, всё через силу. Пробовал любовь.

Я ищу какого-нибудь покоя.

Утешения религии для меня невозможны, ибо я не могу верить.

Ближнего ненавижу. И вас, наверно, возненавижу, если вы будете вечно подле меня»¹.

Русский вариант Байрона-Манфреда, закрывающий эту страницу европейского романтизма. Розовощёкий русский княжич, заблудившийся в дебрях буржуазного века. Цинизм в обнимку с искренностью, детсадовская наивность, оседлавшая садизм. Лермонтовский Демон, бомжующий на площади трёх вокзалов. И это всё о нём.

Но что же лежит в самой сердцевине этой обложенной мышцами пустоты? И тут все остальные “лишние” *отстают и остаются позади* Достоевского.

« – Да ведь зато я знаю, что если и уверю через 15 лет в Бога, то со мной всё равно произойдёт ложь, потому что его нет. Я ведь знаю, что Его нет. Нет, лучше пусть я остаюсь несчастен, но с истиной, чем счастливый с ложью».

Вот она, любимая тема Семипалатинского пророка: вопрос о Боге, тяжба о Христе.

« – И вот этот идеал, веривший в своё воскресение и в божество, как в дважды два, умирает, конечно, разумеется, без воскресения»².

И вот резюме Тихона на явление, включая и «обиду ребёнку», красочно изложенную на бумаге с бесстыдной откровенностью Руссо:

«Тих<он>: “Какой вы хороший человек – вы высший человек...”»³

Святость – по Апокалипсису – протягивает руку *холодному*, за отсутствием *горячих*, поверх голов *тёпленьких*. Это – диагноз.

Но – несмотря на весь аристократизм, благосостояние, полную разнужданность в поведении – «умирает» (о Христе), а значит полное беспросветное отчаянье, сорванность с цепи, аморальность, нерастопимая душевная мерзлота.

¹ XI, 303-305.

² XI, 306.

³ Там же.

И это – лучший.

Все остальные – шушера, паноптикум, *мелкий бес*. И хотя Достоевский пытается максимально облагородить картину:

«Жертвовать собою и всем для правды – вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман»⁴, и ничего, кроме гоголевских “свиных рыл” не выскакивает из-под пера его. А за вычетом главы «У Тихона» – аналога «Выбранных мест из переписки с друзьями» – читатель вслед за автором погружается навь. царство «мёртвых душ», гальванически движущихся псевдоживых тел, летаргии совести и ума. Это самая нижняя точка Дантова духовного Ада, седловина всего Пятикнижия.

⁴ XI, 303.